

Александр Крамер. Германия, Любек

Крамер Александр Борисович родился на Украине, в Харькове. С 1998 года живёт на севере Германии, в Любеке. Окончил Харьковский политехнический институт, инженер. Участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы. Публиковался в журналах (детских и взрослых): «Сибирские огни», «Невский альманах», «Северная Аврора», «Алтай», «Дарьял», «Сура», «Костёр», «Кукумбер», «Нижний Новгород», «Дети Ра», «Союз писателей», «Веси», «Чудеса и приключения – детям» и в изданиях России, Украины, США, Израиля, Канады, Болгарии и Германии. В 2009 году несколько рассказов вошли в московскую «Антологию российских писателей Европы», а в 2013-м – в сборник рассказов «Десять домиков» (Израиль). В 2020 году в киевском издательстве вышла книга рассказов «Люди и странности».

Уттарасанга

1

Барышев был человеком обыкновенным, обыкновенного среднего возраста, обыкновенной внешности... Вот только одиноким ужасно и оттого несколько эксцентричным. Он постоянно находился в каком-то странном внутреннем напряжении, будто вот-вот должно было что-то такое с ним произойти, что высветит, выделит его из окружающих, сделает недостижимым для тусклого, приевшегося своим однообразием мира.

То, что никто извне ничего такого в нём не замечает и сам он только предполагает наличие в себе каких-то особенных качеств, но ничем подкрепить свои ощущения не в состоянии, несколько его не смущало, но вызывало всегда чувство тревожной и грустной досады. Впрочем, на окружающих он своё раздражение не переносил никогда, а, наоборот, даже слыл человеком мягким, застенчивым, с ровным и приятным ха-

рактором. То есть странности эти никому, кроме него самого, не мешали, потому что и одиночество его и неприкаянность из этих же странностей и проистекали.

2

Старый провинциальный театр распродал своё сценическое имущество. Дела давно уже шли из рук вон: зарплату платили мизерную, да и ту редко, за кулисами было пыльно, в зале холодно, трубы сплошь в хомутах... Но только в последние несколько месяцев совершенно стало невмоготу, потому что после микроинсульта директор, чьи энергия, воля и связи хоть как-то поддерживали шаткое существование труппы, сдал сильно, двигался еле-еле, и даже взгляд у него сделался тусклым и обречённым. Все понимали, что труппе конец, больше бороться не за что, и потому на общем собрании решили весь скарб – без остатка – распродать, то, что удастся за него выручить, разделить на всех и раздать, чтобы каждый мог перебиться хоть какое-то время, пока не отыщется, может быть, что-нибудь, дающее средства к существованию.

Назначили день. За неделю до этого нарисовали и расклеили сами по городу красочные афиши, и стали ждать и готовиться.

3

День стоял просто отличный: синее небо, яркое солнце, тёплый несильный ветер... Апрель то ли насмеялся над несчастьем комедиантов, то ли пытался хоть как-то сгладить их тревогу и боль...

Но это было снаружи. А внутри, где поставили на сцене стойки с театральной одеждой, реквизит разложили, сдвинули кресла партера и расставили декорации, было несколько сумрачно, потому что свет сэкономили и центральную люстру зажгли только вполнакала, да и софиты с рампой капельку

приглушили. Но находиться в такой обстановке было даже приятно, потому как бы флёр был брошен на всё, и это придавало происходящему некоторую интимность, таинственность, так подходящую ко всему, что связано в представлении нашем с театром.

Посетителей было так себе, никакой толпы не было и в помине, но те, кто пришли, были приятно возбуждены и взволнованы: ведь не каждый день можно, вырвавшись из монотонности будней, подышать таинственными запахами кулис, превратиться запросто в Тартюфа или Пьеро, стать хоть на мгновение Норой или Офелией... Поэтому в зале стоял лёгкий радостный шум, и мало кто обращал внимание на актёров, неприкаянно и понуро бродивших среди гостей и пытавшихся неуклюже и грустно помочь примеряющим платья и вскидывавшим дуэльные пистолеты. Тут же, с огромными красными пятнами на щеках и нелепой, вымученной улыбкой, ковыляла от группы к группе Зинаида Никитична – пожилая, тучная костюмерша, которая непрестанно ахала, охала, вздыхала и восхищалась (слегка, впрочем, фальшиво) тем, как замечательно сарафан подчёркивает фигуру надменной дамы, как решительно выглядит тощий молодой человек в костюме Лаэрта, какой прелестный малыш...

Барышев тоже бродил вместе с публикой. Вид у него был, по обыкновению, несколько минорный и одновременно растерянный, но сквозь эту растерянность и минорность пробивалась, помимо воли, лёгкая улыбка удивления и удовольствия от того, что всё это можно потрогать, примерить, прицениться, пусть и без всякого намерения купить, но хотя бы предполагая такую возможность.

Неожиданно он увидел довольно большое шафрановое полотно, сшитое из нескольких длинных полос. Оно лежало под тёмно-вишнёвым богатым боярским платьем и его почти

не было видно; а тут, только он подошёл, огромный толстяк потянул наряд на себя...

Барышев замер, до глубины души поражённый великолепным цветом: так сеттер делает стойку при виде притаившейся дичи, так кобра застывает перед атакой, так... Бог ты мой, не описать, что внезапно произошло в душе. Предчувствие, может быть? Но только вмиг всё в нём преобразилось: растерянность и минорность сползли, как змеиная кожа, лёгкий чистый румянец заиграл на щеках, улыбка вспыхнула яркая и открытая... Ни с того ни с сего стал он двумя руками причёсывать наверх свои пегие волосы, тереть глаза, щёки... и всё смотрел, смотрел и смотрел...

Время остановилось, поэтому Барышев совершенно не представлял, сколько же простоял, пока, наконец, не решился взять в руки странную вещь; тут же и Зинаида Никитична подковыляла:

– Понравилось? Знаете, что такое? Не знаете!? Так я покажу. Да нет же, ну нет! Ну, какая римская тога! Это уттарасанга. Таковую монахи носят. Буддийские, слышали... Идёмте, идёмте! – и Зинаида Никитична стала аккуратно подталкивать Барышева к заднику, где стояло огромное зеркало в бутафорской ротанговой раме.

Барышев костюмершу и не слушал почти. Всё глядел и никак не мог оторваться. При этом какие-то странные, нелепые мысли бродили у него в голове, но он к ним не очень прислушивался, вроде как во сне всё это происходило. Только тогда, когда костюмерша предложила ему странную эту одежду примерить, он слегка оклемался, позволил поближе подвести себя к зеркалу, снял куртку и первый раз в жизни накинул уттарасангу на плечи...

Сначала Барышев странному своему приобретению никакого применения практического не находил, и даже перспективы такой не видел. Считал, что это блажь на него такая нашла. Может же человек вдруг однажды выкинуть что-либо этакое, логике не поддающееся. Может же!? Ну, вот он и выкинул, чёрт его подери!

Впрочем, покупка, на какое-то время, привнесла в его жизнь ежедневную тихую радость. Придя после работы, он становился перед трельяжем, набрасывал на себя уттарасангу так, как его научила Зинаида Никитична – то закрывая оба плеча, то только левое – и потом долго ходил по квартире, испытывая необъяснимое, замечательное волнение. Чувство всегдашней досады сменялось тогда в нём чувством ожидания близкого, ну просто вплотную подступившего праздника; и ожидание это было таким приятным, таким волнующим, будто исключительное событие, которое ожидал он всё время, вдруг обрело реальные вполне очертания... Чёрт, но должно ж было это когда-нибудь произойти! Ну, кажется, и происходит!

5

Потом вдруг радость ушла. Верчения перед зеркалом и хождения по квартире потеряли своё колдовство, перестали доставлять то острое, неизъяснимое удовольствие, так встряхнувшее, окрылившее душу Барышева в самом начале. Он даже представить не мог, что же такое случилось, потому что всё так же нёсся с работы домой, предвкушая, как накинёт на плечи уттарасангу... И ничего потом больше не происходило... Ничего совершенно. Только горечь от одиночества стала глубже, только однообразие будней тяготило сильнее...

Надо было немедленно, срочно понять, в чём причина такого неудовлетворения, пресыщения радостью что ли...

Он понял. Быстро. Это было не сложно, ведь он всё также оставался запертым в своей скорлупе, всё также невидим, не замечаем никем, и причина внезапного охлаждения крылась именно в этом. И это нужно и можно было сломать! И немедленно!

6

Субботнее утро выдалось тихим, жёлтым, приятным и для души, и для глаза; да и каким ещё может быть весеннее утро, к тому же в субботу, когда ещё целых два выходных впереди, и можно столько разнообразнейших дел переделать, столько полезного наворотить... А можно и не воротить, можно просто лежать и глядеть в потолок, думать о том, что было бы если бы... И представлять себе всякие необыкновенные вещи...

Нет, в эту субботу Барышев предаваться пустопорожнему созерцанию не собирался. Сегодняшний день предназначался им для конкретной практической деятельности, для воплощения в жизнь принятого решения. И оттого, что поиски и теории кончились, чувствовал он себя приподнято, даже восторженно несколько.

7

Самым трудным оказалось выйти за дверь. Хоть Барышев и напялил на себя паричок дурацкий, и бородку тощенькую, аля Хо Ши Мин, прицепил, а всё равно страшно было; ну, не так, чтоб совсем уж страшно, а беспокойство беспричинное (ведь не преступление же он задумал) сквозь приподнятость и предвкушение праздника пробивалось всё время, будто фальшивая нота вдруг закрадывалась в симфонию, исполняемую огромным оркестром, будто ледышкой прикоснулся кто неожиданно к тёплому телу...

Постороннее переживание это отвлекало, мешало, не давало сосредоточиться. Он вдруг вздрагивал знобко, но тут же

всё и проходило, тут же он и забывал об этой фальшивости, и улыбался опять, и радовался, как ни в чём не бывало: жёлтому утру, субботе, близкому празднику...

8

Как во всякий воскресный день, центр большого города кишел праздным народом, сновавшим по магазинам, кафе, галереям и просто слонявшимся безо всякого дела и повода. Каждый радовался или кручинился вразнобой с остальными; здесь ведь все и всегда были только поврозь, и не было никому ни до кого ни малейшего дела. Так было правильно, такова была норма, позволявшая охранять свою душу от лишних, наведенных эмоций, потрясений и переживаний. Психика каждой отдельной особи, таким образом, защищалась от энергетики окружающих, чья экспансия не ведает, чаще всего, ни жалости, ни пощады.

Мало того, кислоте подобно, толпа растворяла в себе любого и всякого, точно малую мошку, превращая индивидуума, независимо от габаритов внешних и внутренних, в микроскопический элемент, почти неразличимый для глаза.

И монаха в шафранных одеждах она тоже немедленно поглотила, растворила в своём вареве вместе со всеми. Не оставила ни малейшего шанса сохранить экзотическую индивидуальность. Правда, нет-нет, да и ловил на себе Барышев взгляд особенный, улыбку, к нему обращённую, но было это так мимолётно, так незначительно... Иногда, впрочем, редко, ощущал он и враждебность внезапную чью-нибудь, презрение жёсткое, откровенное, но и это было тоже незначительно и мимолётно, и никакого следа в нём оставить не успевало. Совершенно иначе представлял он себе, как это будет. Он был готов и к тому, что его ожидания осуществляются не до конца, но чтобы совсем ничего...

Не снимая уттарасанги, грустный, опустошённый сидел Барышев, сторбившись, в продавленном, стареньком кресле. Мысленно он был всё ещё там, на улице. Каждой клеточкой, каждым нервом переживал он снова и снова все подробности странного дня, не оправдавшего совершенно его ожиданий. Внутренне он готов был уже смириться с таким исходом, но смирение настоящее, дающее успокоение, вопреки этой его готовности, всё не приходило и не приходило.

А через какое-то время, вместо смирения, накрыл его тихий полог воспоминаний о тех необычайных, разнообразных, таинственных, неопишуемых ощущениях, что он испытал, полный странных надежд и сомнений, в течение дня. И от этих именно воспоминаний вдруг успокоился Барышев совершенно и бесповоротно, разочарование уравновесилось в нём тем, что чувства и мысли пришли, наконец, в состояние привычного ожидания, грусти и досады на происходящее.

Тогда поднялся он из уютного кресла, достал с книжного шкафа пыльную карту, разложил её на столе и стал тщательно, не торопясь прокладывать путь к далёким горам, – туда, где он будет такой, как другие, но не будет такой, как все.